

В. Б Л Ю М Е Н Ф Е Л Ъ Д

Художественные элементы в «Истории Пугачева» Пушкина

1

В «Истории Пугачева» принято усматривать основу «Капитанской дочки». Но в каком смысле? Параллели отдельных мотивов едва ли решают этот вопрос. Не отвечает на него и добросовестное современное исследование А. Чхеидзе («История Пугачева» А. С. Пушкина, 1963): пушкинский труд из «ста шестидесяти осьми страничек», на которые было потрачено два года, рассматривается автором лишь как описательно-историческая работа, хотя и с некоторыми наблюдениями над ее стилем. Такова традиция. Но она не такая уж абсолютная.

У В. Ключевского есть интересное замечание о знаменитом параллелизме в работе Пушкина — историка и автора исторического романа: «*Капитанская дочка* была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в *Истории пугачевского бунта...*» (Сочинения, т. VII, 1959, стр. 147). «Больше истории» — это может значить и то, что хотя из исторических разысканий Пушкина явствует, что Пугачев действительно «тряхнул» государством Екатерины II, все же «бунт» описан здесь лишь как локальное событие, зародившееся и завершенное в «киргиз-кайсацких степях». Между тем в «Капитанской дочке» оно определяет общенациональную

перспективу и ощутимо связывает прошлое с настоящим и будущим России. Благодаря этому «Капитанская дочка» приобрела несоизмеримый с «Историей Пугачева» полный эпический объем. И все же эта несоизмеримость относительна. Пушкинская «История» — не учебный труд. Это — летопись, форма промежуточная, в которой историк и художник вступают в соревнование, завершающееся конечным согласием. Летописное дробление «Истории» на локальные события и эпизоды дало Пушкину возможность в рамках военной хроники незаметно задерживаться иногда на анализе «простодушной» народности «бунта», его характерологии, этики и т. д. Все это чрезвычайно помогло историзму «Капитанской дочки», но в самой «Истории» такая локальная эпизодичность могла казаться лишь отступлением от существенных общих вопросов крестьянской войны XVIII века. На деле это не совсем так. В. Ключевский имел основания при оценке пушкинского историзма перенести акцент с Пушкина-историка на Пушкина-художника. Но это значит, что надо устанавливать особое отношение и к «Истории Пугачева». Суть знаменитого параллелизма в работе Пушкина 30-х годов приходится искать в том, что Пушкин — историк и художник не так уж разделимы.

2

«История Пугачева» — проза, в которой предпосылки поэзии тщательно прикрыты не только простым нанизыванием событий, но и частоколом официозно-цензурного жаргона по адресу «черни». Лаконичность этой прозы, внешняя и внутренняя, достигает аскетического для художника предела. И все же источники поэзии и художества скрыто присутствуют в «Истории», и неоднократно угадываются их возможное развитие.

Пушкин как бы принимает официальную догму бунта-разбойничества, но поступает с ней по-своему — реализуя ее как фольклорную метафору. «Простодушные» иных народных источников летописи содействовало такому толкованию.

Пушкин говорит в «Истории» о «сволочи», «грабежах», «шайках» и т. д. При описании захвата Казани войсками Пугачева сказано: «Сволочь его... производила обычные грабежи». Но во многих местах летопись подсказывает читателю иное содержание этого мотива: оно возникает из всего духа «вольностей» крестьянского восстания, из его внутренней близости к происхождению и помыслам разбойничьего фольклора. В краткой биографической справке о Пугачеве содержится намек на слухи, что Пугачев разбойничал до «бунта», причем просто разбойничал, без всяких оговорок. Пушкинская летопись не подтверждает этих слухов. Пугачев стал «разбойничать» лишь в крестьянском «бунте», им возглавленном. Для подкрепления малозаметной передвижки от официальной оценки к фольклорному смыслу метафоры «разбойника» Пушкин то помянет «бурлацкие» песни,

распеваемые бунтовщиками, то сообщит, что «шайки разбойников устремлялись во все стороны... грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности».

Раз возникнув из «подразумеваемой» метафоры, этот эпический элемент разрастается, притягивая к себе и другие элементы потенциального эпоса. Когда, например, в летописи лишь бегло упоминается «общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов», Пушкин-художник тут же вписывает в текст многозначительную деталь, равносильную живой символике народной войны: «Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиною». «Мужик с дубиною» — знак сугубо эпический, богатый подразумеваемыми связями, и раскрывается он у Пушкина особенно выразительно. Впервые этот партизанско-мужицкий мотив возникает в третьей главе («Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки; другие носили дубины...»), а затем следуют повторения мотива. В походе Пугачева к Саратову участвовало «тысяч до десяти калмыков, башкирцев, ясачных татар, господских крестьян, холопов и всякой сволочи». Придав такую национальную многокрасочность движению, Пушкин добавляет: «тысяч до двух были кое-как вооружены, остальные шли с топорами, вилами и дубинами». Настойчивость эпического знака очевидна. В итоге походы пугачевцев иной раз оборачиваются ситуацией, которая приводит на ум другую, только подразумеваемую, — ею легко могла оказаться хорошо знакомая пушкинским современникам по описаниям очевидцев партизанская война 1812 года: ее тоже вели по своему почину «холопья» и в реквизит ее входили топоры, вилы, дубины. Скрытая аналогия (а в ней имеет значение и то, что устрешенный противник бежит при одном виде «мужика с дубиною») — эта скрытая аналогия нисколько, впрочем, не снимает исторического колорита с пугачевской ситуации. «Кивок» Пушкина-художника мимолетен, но он не единственный в своем роде.

Черты эпической народной войны возникают у Пушкина и в другом направлении. Летопись рассказывает, что пугачевцы (и вообще «чернь» с обеих сторон) ставили свои пушки «на церковные паперти», «в трактире Гостиного двора», «на врата Казанского монастыря», «у Горлова кабака» и т. д. — так происходит дело при взятии Казани. На поверхности хроники все это вполне могло сойти за дикость и святотатство «бунта», но одновременно сколько художественских «подразумеваний» в этой картине вольной игры народных сил, попирающих пушками истонные символы своей национальной судьбы!

При описании захвата Казани пугачевцами летопись рассказывает: Пугачев «отрядил к предместью толпу заводских крестьян... Эта сволочь, большею частью безоружная... перебежала из буерака в буерак... переползывала через высоты, подверженные пушечным выстрелам... Опасное сие место защищали гимназисты с одною пушкою... бунтовщики... влезли на высоту, прогнали гимназистов голыми кулаками, пушку отбили...» Пушкин не раз предлагает присмотреться, как ведет себя в его эпосе так называемая «сволочь», да и как звучит

само это жаргонно-официальное словечко. В тексте «Истории» оно проходит двойное стилистическое очищение. На первой ступени оно не раз пристраивается в один смысловой ряд со словами «чернь», «черный народ» и приобретает таким образом оттенок сословного синонима. Затем, при неоднократном повторении в ситуациях, не лишенных «простодушного» героизма, оно само окрашивается в тон действия, — так это и происходит в эпизоде, где пугачевцы голыми кулаками отбивают пушку. Бранное слово становится почти эпическим «чином». Пусть в нем и не полностью подавляется смысл сословного унижения: тем ярче сверкает «черный народ». Кесарю — кесарево, но кто хочет видеть народную суть события, тот заметит, что эпический «чин» тут же оправдывает свое действительное достоинство былинным ходом дела, хотя о стиле былины не возникает и намек. Для официального приличия Пушкин добавляет: «сволочь... подгоняемая казацкими нагайками...» Но кто поверит этому, глядя на самое картину?

В конце пушкинской летописи, когда Пугачев уже предан в руки властей, происходит его многозначительная встреча с Суворовым, описанная с удивительным мастерством двойного освещения. Хроника рассказывает: Суворов сопровождает захваченного и посаженного в деревянную клетку «разбойника» в Симбирск как важного государственного преступника. Но именно потому, что об этом не говорится прямыми словами, а лишь окольно, у Пушкина возникает и другой, «окольный» смысл. Суворов — фигура, по-народному славная, солдатская, отмеченная легендой. И вот странным образом она начинает приравняться к Пугачеву и даже занимать при нем служебное положение. Пушкин-художник подсказывает: Суворов — в личном «карауле» у «разбойника» («Суворов от него не отлучался»).

Так при знаменательной встрече исчезает в Пугачеве «разбойник» и вместо него, рядом с Суворовым, вычерчивается силуэт «славного мятежника». В руках у цензоров остается только деревянная клетка.

3

Подобным образом обстоит дело со всей «Историей Пугачева». В ней намечаются два течения. За «голой» военно-исторической реляцией о «бунте» и «бунтовщиках», рассматривающей то и другое издали, некартинно, возникает кое-где более глубокое, эпическое течение, открывающее общенародную природу «бунта», его внутренний облик, коллизии, героические черты. Для этого в летописи появляются иногда беглые новеллистические эпизоды, задерживающие мотивы, крупный план, пластически более выразительный. Но оба течения нераздельны. Потенциальные элементы эпоса не образуют в хронике какого-либо особого стилистического слоя. Стилистика летописи почти всюду — «оголенная». Лишь один раз во всей «Истории» Пушкин прибегает к открытому народно-поэтическому образу — в знаменитом

эпизоде со старой казачкой (Разиной), которая «каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: Не ты-ли, мое детище? не ты-ли, мой Степушка? не твои-ли черные кудри свежа вода моет? и, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп».

Но нужно заметить: соприкосновения с мотивами классического фольклора могли годиться Пушкину лишь в отдельных случаях, поскольку и в самом пугачевском движении было немало архаического, смеси старого и современного. Однако современное в облике и стиле «бунта» привлекало Пушкина в большей мере. Не порывая с тоном староэпического «простодушия», Пушкин собирал во внутреннем течении своей «Истории» элементы другого эпоса, исторически более адекватного крестьянской войне XVIII века, возникающего из нее самой, передающего ее дух и характер. Поэтому так и приманивали автора «Истории» злободневные песни о «пугачевщине» и ее «простонародная» документация. Кое-где летопись сказывает языком таких народных подлинников, и тогда сама ее «документальная» сторона приобретает эпическое красноречие. При первом походе на Илецкий городок (гл. II) Пугачев предложил находившимся там казакам присоединиться к нему: «Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою (илецкие, как и яицкие, казаки были все староверцы), реками, лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом, и вечною волею, угрожая местию в случае непослушания». И здесь хроника придерживается принципа «оголенного» сообщения, — пугачевское воззвание переведено в повествовательную форму, но кое-что из его красноречивого стиля сохранилось, придавая всему событию особую емкость. Но это уже — кусок нового пугачевского эпоса. И если к нему присоединяются иногда староэпические элементы, то происходит это естественноисторически, в соответствии с объективным движением самого события.

В той же второй главе приводится большая цитата-рассказ из показаний крестьянина Алексея Кириллова о встрече Пугачева с жителями Сакмарского городка. В картине, нарисованной «простодушным» очевидцем, появляются по очереди: хлеб-соль, колокольный звон, ковер, разостланный перед станичной избой, поп с иконами, народ, падающий ниц. Пугачев «приложился ко кресту, хлеб-соль поцеловал и, сев на уготовленный стул, сказал: «Вставайте, детушки». Потом все целовали его руку». Перед читателем — как бы старорусский эпос, но с колеблющимися границами, за которыми возникает нечто, ему не присущее, злободневное и новое: Пугачев представлен не уместающимся в архаическом благолепии картины, он словно играет исконным крестьянским мифом о мужицком царе. Здесь ощущим оттенок юмора, но юмора самой истории — над самозванством вождя народного движения. Границы между старым и новым колеблет не крестьянин Алексей Кириллов, а сам Пушкин. И в дальнейшем все отчетливее вырисовывается в эпизоде современный, исторически подлинный Пугачев — казак, мужик и повстанец, вождь и политик, ни на минуту не теряющий из виду целей крестьянской войны.

Все больше перерастает этот Пугачев рамки почти иконописной картины, в которой он первоначально появился. Но именно это и нужно Пушкину: пусть историческое противоречие запросто, простодушно глядит из своей картины.

Не сам по себе стиль эпического «простодушия» нужен был автору «Истории Пугачева», но прежде всего естественная историчность эпоса, основанного на непосредственно передаваемой связи времен далеких и близких. На эту эпическую историчность опираются и все «переклички», «кивки» и «подразумевания», о которых уже говорилось. Им помогает, конечно, и сама пушкинская фраза, при всей своей хроникальности обладающая большим внутренним запасом обобщения: в ней просторно и подсказываемой мысли, и воображению, и символически. Иногда кажется, что в «Истории Пугачева» намечается — пусть в несобранном, нецельном виде — некое подобие ассоциативной внутренней формы, направленной к тому, чтобы локальные события хроники хотя бы мимолетно соприкасались с глубокой перспективой народной истории России. Всеми этими особенностями «История» обязана Пушкину-художнику.

4

Основой эпического течения в «Истории» служит все же не «пугачевщина» в собственном смысле, а значительно более широкие народно-национальные силы, проявляющие себя и на противоположной стороне. Пушкинская летопись обладает внутренним равновесием, присущим всякой подлинной эпике. Об общенациональной перспективе, предполагающей «великие перемены» в России, здесь нет прямого слова, но перспектива эта постулирована самим «бунтом» и подкреплена внутренними народно-человеческими предпосылками, уравновешивающими всю жестокую картину крестьянской войны XVIII века.

Можно говорить, например, о чести, одинаково присущей у Пушкина обоим лагерям. О простодушно героических чертах пугачевцев сказано выше. Тот же мотив нередко обнаруживается и с другой стороны. При осаде Пугачевым Яицкого городка осажденным грозит голодная смерть: «Решились... идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить... хотели только умереть честною смертью воинов». В противоположном лагере: «башкирцы... загнанные в болото... не сдавались. Все, кроме одного, насильно пощаженного, были изрублены...»

Из всех подобных, белго намеченных мотивов эпического равновесия Пушкин очень скоро извлек памятейший эпизод «Капитанской дочки» — рассказ о гибели Ивана Кузьмича Миронова, который в грозную минуту оказывается — в эпическом смысле — вровень самому Пугачеву, хотя это внутреннее родство обнаруживается именно и только в сцене казни, которую одна сторона учиняет над другой. В пушкинской летописи офицеры из «простых», попадающие в ситуацию Ивана Кузьмича, не всегда останавливаются на его предсмертной

реплике («...ты вор и самозванец, слышь ты!»), но порой и перешагивают трагическую границу. Майор Скрыпицын сдает Пугачеву крепость Осу, встретив его с иконами и хлебом-солью. «Самозванец обласкал его и оставил при нем его шпагу». Подобные мотивы повторяются в летописи многократно. Крестьянская война тяготеет к собиранию национальных сил. Это движение предполагает даже некую великодушную наивность «бунта», когда волей его руководителей оно направлено даже в сторону генерала Рейнсдорпа, оренбургского губернатора.

Пушкин не поместил в основной текст «Истории» письмо «секретарей Пугачева» генералу Рейнсдорпу, написанное в ответ на послание генерала, адресованное *«пресущему злодею... сатанину внуку Емельке Пугачеву»* (прим. 4 к гл. IV). Какую бы «сатанину» полемику, приправленную юмором, ни вели пугачевцы с оренбургским губернатором («Ведай, мошенник...», «Разумей, bestия...»), главным в ней было предложение генералу «прийти.. в покорение, сколько твоих озлоблений ни было». Письмо уведомяло губернатора, что Пугачев «всемиловитейше прощает» его, «да и сверх того вас прежнего достоинства не лишит». Движение пугачевцев к общенациональному согласию действительно поднималось Пушкиным над всеми «озлоблениями» и «свирепствами» крестьянской войны.

У эпического течения в «Истории» вполне ощутимы его берега и границы. Люди, обремененные привилегиями и властью, могут попасть в это течение, лишь поступившись кое-чем существенным. Официально-государственный и народно-национальный лагерь (стирающий кое-где границы «бунта») отнюдь не играет в пушкинской летописи роль ахейцев и троянцев, обладающих равным эпическим достоинством. В шестой главе Пушкин посвятил почти целую страницу реестру случаев трусости и национального бесчувствия генералов Екатерины II.

Впрочем, о генералах Пушкин говорит и нечто большее. За генералами Екатерины (они же «начальники» по отношению ко всем окружающим) стоит государство, «отечество в опасности», но это — фиктивное целое, потому что «начальники», по негласному закону, каждый сам за себя, за свою должность и власть, они завидуют, трусят, «не думая о дружном содействии». «Пока Михельсон, бросаюсь во все стороны, везде поражал мятежников, прочие начальники оставались неподвижны». Или: «По распоряжению князя Щербатова, войско Голицына оставалось безо всякой пользы около Оренбурга и Яицкого городка, в местах уже безопасных». Где «начальники» — там нет отечества, общности, потому что олицетворяемое «начальниками» государство воплощено только в них одних, в их должностях и привилегиях. Екатерининский главнокомандующий Бибииков — он стоит у Пушкина в особом национальном ранге и достоинстве — находит меткое слово по адресу генерал-майора Ларионова, «начальника дворянского легиона»: «За грехи мои (писал Бибииков) навязался мне братец мой А. Л., который сам вызвался сперва командовать особливым detaшментом, а теперь с места сдвинуть не могу».

Противостоит этому настоящая общность у пугачевцев. За словами о «сволочи» и «злодейской толпе» у Пушкина неизменно ощутимо единство, которое на многих страницах «Истории» подкрепляет намерение Пугачева, высказанное им еще в начале движения, — «*броситься в Русь*, увлечь ее всю за собою». Бибиков — исключение среди генералов. Рассказанное о нем Пушкиным в значительной своей части входит в национальный эпос, именно — в исконно патриархальный эпос «Истории Пугачева». Но какой ценой? Когда этот усмиритель «бунта» произносит, умирая, слова чести: «Не жалею о детях и жене... жалею об отечестве», — то эта «жалость» приобретает у Пушкина глубокий национальный смысл. Здесь предположена, между другими значениями, «жалость» над состоянием отечества, в котором возможно дошедшее до «освирепения» всеобщее негодование, о нем говорит тот же Бибиков несколько раньше. В какой-то момент перед смертью усмиритель сблизился с точкой зрения самого «бунта». «Жалость» Бибикова могла быть и пушкинской.

5

Полускрытая в «Истории» общенациональная потенция «бунта» опирается у Пушкина на основу народной этики, которая не раз обнаруживается в действиях Пугачева и его ближайших соратников (Падуров, Хлопуша). Особенность ее — и это подчеркнуто в летописи — в том, что она нигде не обособлена от «разбойничества», но проявляется как внутренне присущий ему момент. Иногда одна фраза у Пушкина или несколько соседних передают в едином потоке сообщения и скрытый этический мотив «бунта» и жестокое, устрашающее в нем, словно сама его свирепая стихия неотрывна от некоего этического источника.

Уже в начале летописи сообщается: Пугачев хотел «повсюду поставить новых судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им многая неправда)». Об этом сказано во второй главе. В третьей Пугачев представлен в пластически-ритуальном облике правителя-судьи: в Берде он творит «суд и расправу», сидя в креслах перед своей избой: «По бокам его сидели два казака, один с булавою, другой с серебряным топором. Подходящие к нему кланялись в землю и перекрестясь целовали его руку». Нам уже знаком этот архаически-театральный оттенок, но он не уничтожает почти фольклорного характера эпизода. В оренбургских записях Пушкина облик Пугачева-судьи выглядит еще фольклорнее: у Пугачева «рука лежала на пелене». Здесь вместо устрашающего топора — «серебряный топорик» и совсем нет упоминания о «расправе»: справедливый правитель, по фольклору, — не столько власть, сколько суд (в исследовании Н. Измайлова «Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» образ Пугачева-судьи генетически отнесен к рассказу крестьянки Бунтовой, — «Пушкин. Исследования и материалы», 1953, стр. 289).

Если выражение общеэтического содержания через мотив суда пришло к Пушкину от народных рассказов, то и по исполнению своему пугачевский суд всюду в летописи — крестьянский: он творится от лица тех, кто своей национальной судьбой лишен его и по суду-правде тоскует. Мера этой тоски и выражена иногда «свирепством» судей: «Пугачев повесил капитана (Нечаева.— В. Б.) по жалобе крепостной его девки».

Особенную глубину этическая тема «бунта» приобретает при встречах пугачевцев с обитателями тюрем и отбывающими каторгу. Пушкин пристально всматривается в такие случаи. Пугачевцы жгут тюрьмы, освобождают каторжников. Подобные эпизоды повторяются в летописи дважды — при взятии Казани, при походе на Саратов. И каждый раз Пушкин дает почувствовать, что пугачевцы встречаются здесь с теми, кто им сродни, как «разбойникам», и кем они вновь могут стать. Для внешних показаний хроники такое сближение — еще одна черта в «беззаконном» облике «бунтовщиков», но в ее эпическом течении дело идет о другом — о внутреннем сродстве пугачевцев и «колодников» как товарищей по народной судьбе. Биографию «колодника» пережил сам Пугачев и некоторые другие вожди движения. Пушкин дает о том точные сведения (в гл. IV — о Пугачеве, в гл. III — о Хлопуше). Опираясь на окружающий контекст, такие справки приобретают немалое значение: подобно «разбойничеству» пугачевцев, каторга — естественный элемент народной жизни.

Тема каторжников, органически входящая в народный фон летописи, не ограничивается у Пушкина двумя хроникальными эпизодами. Ту же тему продолжает повествование о Хлопуше, в облике которого нельзя не заметить странного противоречия. У него — вырванные ноздри. Он «три раза ссылаем был в Сибирь». Несмотря на эти подчеркнутые каторжные черты, Пушкин явно подразумевает в своем «колоднике» особую этическую цельность, приверженность воле и мятежу. Три раза в каторге, и — три бегства из нее. Ко всему этому за устрашающим обликом — человеческая верность. Об отношениях Пугачева и Хлопуши сказано: «Хлопуша оправдал его доверенность» (в деле возмущения уральских заводов и снабжения Пугачева пушками). Ни одно действительное «злодеяние» Хлопуши в летописи не упомянуто. Он схвачен при попытке спасти жену и сына. Упоминание о его гибели не лишено трагического оттенка: «Татары связали его... Славный каторжник был привезен в Оренбург, где, наконец, отсекли ему голову в июне 1774 года».

Этическую тему каторжника с вырванными ноздрями Пушкин открыто закрепил в «Капитанской дочке», в памятном эпизоде «Мятежной слободы». Хлопуше придано здесь «выражение неизъяснимое». Он оспаривает настояние Белобородова подвергнуть Гринева пытке («Полно, Наумыч... Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»). Надо признать: «неизъяснимость» каторжника относится в какой-то мере ко всему «бунту», которым управляют каторжники. «Неизъяснимо» в Хлопуше стойкое равновесие между его состоянием «разбойника» и внутренними нравственными

силами. На внутреннем принципе такого соотношения основана вся поэтика «Капитанской дочки»: гармонично в пушкинском романе все повествование о «пугачевщине» и ее ужасах (знаменитый «пиитический ужас», испытанный Гриневым, — лишь вершина, поднимающаяся из общей основы романа). У Пушкина «бунт» и расставляет виселицы, и одновременно пробуждает такие нравственные силы в нации, которые обещают снять противоречия, обозначенные виселицами. «Бунт» для Пушкина — свидетельство о необходимом в истории России. Нравственные силы нации — знак и мера возможного для нее. Равновесием этих сторон отмечена в «Капитанской дочке» сама историческая необходимость. По-человечески она выражена и в Хлопуше, который становится более объяснимым, если его рассматривать в целом — каков он в летописи и каков в романе.

В «Истории» Пушкин мог лишь намекать на потребности «бунта» в этических отношениях, в чести, которая отнята у народа «законными» формами его существования. И все же эта потребность не только намечена, но даже измерена в летописи. В ее восьмой главе рассказано о встрече Пугачева с захваченным пастором реформатского исповедания: «...Самозванец узнал его: некогда, ходя в цепях по городским улицам, Пугачев получал от него милостыню. Бедный пастор ожидал смерти. Пугачев принял его ласково и пожаловал в полковники». Так выглядит здесь безграничная этическая щедрость «бунтовщика»: за долги души, оказанные ему, когда он был «колодником», он воздаст теперь, на поле свободы, выше всякого счета. Такова мера народной нужды в этике чести, — она приравнена здесь к хлебу жизни.

6

Но вот вопрос: разве не представлены в «Истории Пугачева» «казни, грабежи, пожары» (М. Цветаева), как просто «низкие» факты истории крестьянской войны, не имеющие в самих себе никакой художественной потенциальности? Бесспорно — многие факты и события в «Истории» способны устрашать. Но и среди ужасных и «низких» фактов, упомянутых в ней, трудно найти такие, которые не имели бы и другой смысловой перспективы.

Недавно советские читатели смогли познакомиться со статьей Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачев» (в книге «Мой Пушкин», М. 1967), дающей самобытную интерпретацию поэтического Пугачева из «Капитанской дочки» — «волка и вора», богатого духом «доброты, широты и пощады», мятежного мужика, в поэзии которого — «кристалл романтизма». Но этот поэтический Пугачев противопоставлен в статье другому — бесславному и «низкому» Пугачеву исторической прозы Пушкина: «пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив». Марина Цветаева приводит опись «низостей» исторического мятежника, среди которых: захват вдовы коменданта Харлова в качестве «наложницы» Пугачева («... за-

вождеделев — помиловал на свою потребу»); Харлова затем выдана «ревнивым» казакам и расстреляна вместе со своим семилетним братом; история писаря Кармицкого, любимца Пугачева: по воле казаков он кончил тем, что «пошел... к своей матушке вниз по Яику» с камнем на шее и т. д. Кое-что из этого само по себе действительно закрыто для поэзии. Но многие из «низостей», отмеченных Мариной Цветаевой, связаны с трагическим в судьбе «волка и вора».

О гибели Кармицкого и молодой Харловой рассказано в многозначительном абзаце «Истории», начинающемся словами: «Пугачев не был самовластен...» Казаки (основная военная опора Пугачева) неволили его своими более узкими целями, контролем и ревностью ко всякому иному влиянию на мужицкого царя. Какую развязку в пушкинской летописи уготовила Пугачеву эта казацкая «ревность» — известно. Фоном к началу истории Харловой служат виселицы и пожарища, но ее судьба освещается у Пушкина и по-другому: «Пугачев поражен был ее красотой...» Эта тема растет в следующей главе, вырисовывает широту в пугачевской привязанности («по ее просьбе прислал он в Озерную приказ — похоронить тела им повешенных...») и обрывается кратким сообщением — о подозрениях казаков, об их требованиях выдать им «наложницу». У развязки Пушкин вновь возвращает эпизод к фону злодейств и ужаса. При расстреле Харловой и ее брата — «раненые, они сползли друг с другом и обнялись». Но для одного только «содрогания» перед ужасным и низким Пушкин не применял в «Истории» крупный план, здесь в нем обозначено и нечто человечески сильное, не уступающее смерти: «Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении». На душевный облик Харловой Пушкин намекнул тремя строками выше: просьба похоронить тела повешенных в Озерной, ей близких, исходила от нее. В оренбургских материалах Пушкина молодая Харлова описана, как «прототип» Маши Мироновой (Н. Измайлов — «Пушкин. Исследования и материалы», стр. 280). Простая русская красота, поддержанная нравственной силой, — это и привязало Пугачева к Харловой. И влияние ее было не малым: «Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку...» Отсюда — казацкая расправа.

«Пугачев здесь встает моральным трусом» в истории Харловой и Кармицкого — такова оценка Марины Цветаевой. Она сопоставляет эпизод выдачи Харловой казакам с аналогичной ситуацией в песне о Степане Разине:

...Мощным взмахом подымает
Он красавицу княжну...

«И какие разные жесты», — замечает Марина Цветаева. Но поэзия и проза, ею сопоставленные, — не только разные, но и кое в чем сходящиеся: в обоих «жестах» — драматизм, хотя в одном случае он перекрыт удачью, а в другом скрыт в собственной интенсивности. И в основе обоих «жестов» — Разина и Пугачева — историческая общность: верность своему «разбойничьему» делу.

Марина Цветаева любит в Пушкине то, что является и ее особен-

ностью, как поэта, — «страсть... к мятежу, олицетворенному одним». «Чара» этого мятежа действительно глубока в Пугачеве «Капитанской дочки». Но в «Истории» объяснено и то, какой ценой вырабатывалась она, эта «чара», в прозе крестьянской войны — у мужика, взявшего на себя полный ответ за нее. Этот ответ Пугачев и держит в делах Харловой, Кармицкого, Дмитрия Лысова и т. д. Во всех случаях краткий пугачевский жест говорит о продолжении мятежа. Выслушав недобрую казацкую весть о расправе с Кармицким, поданную к тому же в мрачно-шутливой форме («пошел... к своей матушке»), «Пугачев молча махнул рукой». Всего несколькими строками выше упомянуто о виселице Кармицкого, и о пощаде, данной ему, и о «любимце». Прошлое и настоящее — в одном пластически сжатом моменте. А материалы к «Истории» добавляют в эту сжатость и то, что Кармицкий не был случайным фаворитом Пугачева, а любимцем его по духу и делу. Впрочем, так хотелось Пушкину. Показания «архива» были разные.

В конце концов и Марина Цветаева признает, что она с пристрастием составила свою опись «низостей» исторического Пугачева, что и в нем есть кое-что от могучей «чары»: она проявляется преимущественно на пути «разбойника и вора» к московскому эшафоту. И действительно, Пушкин воздаст Пугачеву, скованному и посаженному в клетку, особые почести, как это делал Шекспир по отношению к свергнутым королям и поверженным героям: у скованного Пугачева — огненный взор и грозный голос; женщины, разглядывавшие его в клетке, падали без памяти; «солдаты кормили его из своих рук...». Дерзкий ответ Пугачева (*«я вороненок, а ворон-то еще летает»*) обращен не только и не столько к графу Панину, сколько к столпившемуся «около двора» народу, который затем и подымет пугачевский ответ на уровень предания. Народ принимает во всей этой сцене молчаливое, но сильное участие. Граф Панин заметил, «что дерзость Пугачева поразила народ», — именно за это он и бьет «вора».

7

В «Истории» не обойдены и внутренние слабости пугачевского движения. Они стоят за трагическим и комическим аспектами событий, иногда почти неразличимо сближенными друг с другом.

Хотя «бунтовщик»-пугачевец ведет свою крестьянскую войну, «остервепись» на казенный порядок жизни, он остается внутренне связанным с ним невидимыми вековыми узами. Военная коллегия правительства Екатерины II разделяла казаков (и крестьян вообще) юго-востока России на две стороны — «послушную» и «непослушную» (Пушкин сообщает об этом в первой главе). Пушкинская мысль заключается в том, что обе эти стороны могли находиться внутри «бунтовщика». И горе ему, если его «остервенение» не достигало нужной степени! В этом случае всегда могла проявиться вековая инерция «послушания». В пятой главе «Истории» рассказано об усмирении гвардейским поручиком (и поэтом) Державиным некоей деревни, где го-

товился «бунт»: «Двое из зачинщиков... начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось». И многие другие «сборища» в летописи Пушкина разбегаются, рассеиваются, подавляются таким же образом — далеко не всегда в соответствии с действительной военной силой, стоящей против них. При Державине были только два казака, а окружало его «множество народу». Пушкину-художнику важен намек на слабость внутреннего самооправдания «бунта». У «бунтовщиков» нет собственного закона, а это сохраняет силу за старым, казенным законом.

Отсюда — покаянные эпизоды, каких немало в «Истории». При неудачах и колебаниях рядовой «бунтовщик» как бы возвращается к «бурлацкому» самосознанию, то есть сам готов признать себя разбойником; и тогда он надевает себе на шею веревку и ищет помилования у тех, в чьих руках государство, церковь, традиции, законы — все то, чьи материальные символы он только что сжигал и растапывал.

В итоге пугачевская война вырисовывается у Пушкина резкими, поражающими контрастами: неиссякаемые силы движения — округа за округой, деревня за деревней порождают своих Пугачевых. Но в этой же картине и внутренняя бесформенность «бунта», неопределенность границ между «послушными» и «непослушными», стихийность «на местах», а в центре, в штабе Пугачева, — подражание формам, чинам и церемониалу Российской империи, против которой идет беспощадная борьба, подражание, иногда пародийное. Этот пародийный элемент у Пушкина многозначен, в нем таятся возможности «шекспировского» развития — от комического к трагедии и обратно. Таков, например, эпизод женитьбы мужицкого царя на казачке Устинье Кузнецовой: Пугачев провозглашает ее императрицей, назначая «штатс-дам и фрейлин из яицких казачек».

Но суровой выглядит ирония другого эпизода, где пленных правительственных солдат приводят к «верноподданничеству» Пугачеву: солдат ставят на колени перед заряженной пушкой, Пугачев объявляет им свое «императорское» помилование, и пушка выпаливает в степь: ни о чем не догадываясь, пугачевцы словно разыгрывают пьесу о том, что ожидает их самих, — и, может быть, без столь доброго исхода.

Пушкин, несомненно, придает особое значение трагифарсам пугачевской войны. Они по-своему народны, но выражают косную сторону «бунта» — нечто такое, что мешает великому по исторической потенции движению подняться до адекватной ему формы. Если присмотреться к характеру пугачевских фарсов, нетрудно обнаружить в их основе горюхинский элемент, который зримо и незримо проникает всю картину «бунта» сверху донизу, связывая «императорский» церемониал в штабе Пугачева с исконно закоснелыми чертами пугачевской массы, а заодно и с казенным порядком всей российской иерархии. Это особенно углубляет историческую перспективу пушкинской летописи. Но и здесь дело идет о Пушкине-художнике.

Только в последнее время в советской пушкиниане начинает уясняться действительное значение «Истории села Горюхина» для последующей прозы Пушкина (см. исследование Н. Берковского «О «Повестях Белкина» в кн. «Статьи о литературе», 1962). Еще не столь давно летопись Ивана Петровича Белкина оценивалась главным образом как пародия на историографические труды Карамзина или Н. Полевого или их обоих. Но юмористически-печальная летопись о горюхинцах не приобрела бы своего полного значения, если бы она не была пародией в более глубоком историческом смысле, — если бы крепостная форма русской национальной жизни, изжившая себя и все же удерживаемая, не превратилась бы в «Истории села Горюхина» в свою естественную самопародию. Как ни мал и ничтожен по своим событиям горюхинский мир, все же у Пушкина это — народ и нация, хотя и пародирующие в своем оскудении самих себя и свою историю. Но пушкинская пародия не однозначна. За оскудением горюхинцев все же ощущается не исчерпанная до конца эпическая сила: если она находится в упадке, то не по собственной вине. Печаль пушкинской пародии связана и с тем, что горюхинцы, герои дремлющего эпоса, при всех своих ссорах знают только исконную форму жизни и простодушно верны ее «древним обрядам», хотя именно она, эта неподвижная форма, довела их до оскудения. Достопамятны в этом смысле горюхинские «копейщицы», которые составляли «мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе...». Рукою Белкина-летописца подчеркнута эпическая природа *«копейщиц»*: наименование сие — «от словенского слова *копье*». Но тут же уясняется и малая осмысленность их исторической службы — «как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем утращать злоумышление», — конечно, против того же барского дома, который охраняется по чистой традиции: самого барина нет. Во всей окружающей среде летописи «барский двор» незаметно приобретает у Пушкина некий общий смысл: сами горюхинцы стоят на страже плохо приспособленного к ним национального порядка жизни. Они были бы готовы поднять бунт против дурного «правления приказчика», но, если бы Пушкин осуществил свой замысел, каким мог бы стать этот бунт, как не горюхинским, то есть не выходящим за свою околицу?

Многое от внутренней сути горюхинства проявляется в среде пугачевского движения. Все его слабости и трагифарсы сходятся к одному фокусу; отсюда же и его внутренняя неподготовленность к тому, чтобы видеть целое своего дела иначе, чем в поношенных формах империи. Глубокое противоречие намечается в самом историческом ритме пушкинской картины «бунта»: в ней все в движении, в беге событий, в сломе старых символов, но пугачевское движение где-то само гасит свои возможности и возвращает время вспять, к прежней неподвижности. В последней главе «Истории», наиболее динамичной из всех, Пушкин трижды сообщает о том, как при захвате городов Пугачев ставил на место царских воевод по тому же образцу — своих

воевод. И хотя в них превращаются «господские мужики» или простые казаки, каждый раз мужицкая империя с воеводами как бы дает обратный ход к временам «баснословным», из которых никак не могло выйти и село Горюхино. Такое стояние «бунта» на том, что «от варягов», Пушкин рассматривает еще в особой ситуации: «Народ не знал, кому повиноваться. На вопрос: кому вы веруете? Петру Федоровичу или Екатерине Алексеевне? мирные люди не смели отвечать, не зная, какой стороне принадлежали вопрошатели». Не смели — отчасти из-за утраченности обеими сторонами. Но ироническая форма ситуации говорит и о положении этих «мирных людей», которые не могут отличить одну империю от другой.

Здесь пора оговориться: горюхинский элемент вошел в «Историю Пугачева» отнюдь не как повторение или подражание Пушкина самому себе. В «Истории села Горюхина» Пушкин открыл столь общее национальное содержание, что оно могло проявиться в своем объективном значении и за пределами знаменитого села. В «Истории Пугачева» горюхинство отчасти вышло за рамки «баснословной» пародии, за белкинские горизонты; оно проявляется здесь на сцене большой истории крестьянской войны XVIII века; и все же нечто продолжает связывать его и с «баснословностью», и с пародией «Истории села Горюхина».

Особенность «Истории Пугачева» — также и в том, что горюхинский элемент заметен здесь не только в своем низовом, народном обличье, но рассмотрен и на верху казенной иерархии, как условие существования низового элемента (и — наоборот). Внизу — это, например, «гулебщики» (охотники), которые метко постреливают в крепостные стены Яицкого городка; это и призывы пугачевцев к осажденным — одуматься и служить их «государю», потому что «у нашего батюшки вина много»; это и особая «домашность» повстанцев: с наибольшим упорством и длительностью они осаждают Яицкий городок, где находятся их хаты; при снятии этой осады «бунтовщики въезжали (в город. — В.Б.) в разные ворота, каждый в те, близ коих находился его дом».

Но вот и горюхинство сверху: например, ловля «возмутителей» по кабакам, куда были разосланы переодетые чиновники. «Таким образом, возмутители были открыты и захвачены». Генерал Рейнсдорп пытается ловить пугачевцев у крепостных стен Оренбурга капканами — как волков. В том же ряду явлений — «высочайший указ» о сожжении дома и имущества Пугачева в Зимовейской станице, хотя дом этот из-за бедности семьи пришел в упадок, был сломан и перенесен на чужой двор. «Его перевезли на прежнее место и в присутствии духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя на века в запустении, как место проклятое». Чем это не знаменитое «бесовское» болото в селе Горюхине? Явления разные, но их связывает общая форма пародийной «суеверности», черта «баснословности». Горюхинство сверху порождается горюхинством снизу и может существовать, лишь опираясь на свой низовый элемент, держа его «на века в запустении», благодаря чему и само

оно проникается родственными чертами, приобретает горюхинский горизонт.

В случаях особо симптоматических пушкинская хроника даже по тональности приближается к белкинскому повествованию. Вполне побелкински выглядит, например, один из эпизодов осады Яицкого городка, где рассказано о подкопе пугачевцев под колокольню, на которой стояли вражеские пушки. Колокольня внезапно опустилась, подавив нескольких людей. Летопись рассказывает: «Бывшие же в самом верхнем ярусе шесть часовых при пушке свалились оттоле живы; а один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись». Герои «баснословного» события — правительственные солдаты. Но то же самое могло быть рассказано и о пугачевцах. Обе стороны порой охвачены богатырским горюхинским сном.

Возникает вопрос: к чему Пушкину такие мелкие, отнюдь, казалось бы, не исторические эпизоды? Но ведь и «История села Горюхина» составлена из подобных же «жанровых» микроэлементов. Таково ее основное измерение. Отсутствие другого, более значительного, составляет ее печаль и юмор. Те же тона слышатся и в хронике пугачевской войны, где к ее событиям применен масштаб, напоминающий «Историю села Горюхина». Где пугачевцы — горюхинцы, там и мера их участия в большой истории — горюхинская. Но тогда и мелкое приобретает у Пушкина значение исторически существенного символического знака.

В конечном счете горюхинский элемент в «Истории Пугачева» — деталь, перекрытая эпической силой движения, и все же деталь, многократно повторенная и многое освещающая вокруг себя. Она же стоит и у истоков трагического развития, намеченного Пушкиным на верхах «бунта», где оформляется самозванство Пугачева и происходит его «императорский» маскарад.

Сам по себе Пугачев — почти единственное лицо среди «бунтовщиков», не подверженное горюхинским чертам. Они безымянны и безличны. Пугачев слишком самобытен, чтобы раствориться в них. Он играет горюхинством, и все же оно навязано ему массовой средой и поэтому неизбежно приобретает власть над ним. «Государь» Пугачев принужден к этому титулу горюхинской Россией, — Пушкин-художник многократно свидетельствует об этом, скрыто и явно, придавая объективным показателям событий различные оттенки, вплоть до «подразумеваний» трагических. Императорское звание Пугачева не дано ему даром, но незаметно приковывает самого игрока к горюхинскому порядку вещей. И этот мотив сковывания народного вождя Пушкин разворачивает последовательно, в существенных моментах, давая полностью вырисоваться трагической ситуации, хотя она и нигде не нарушает летописного бесстрастия хроники. Пушкин приводит отзыв врагов: «Пугачев не что иное как чучело, которым играют воры, Яицкие казаки...» Признание Пугачева — «моя улица тесна» — связано с той же ситуацией и даже с проблеском трагического осознания героем скованности своей мужицкой воли и воли всего «бунта»

староисконной формой национальной жизни. Особенно трагична развязка движения.

В этом месте «Истории Пугачева» Пушкин-историк и Пушкин-художник соревнуются в своей значимости для летописи особенно явно, и соревнование это — не в пользу «голой» историографии: на ее стороне лишь поминание и название событий, тогда как художник в развязке рисует драму большой народной эпохи. В одной из заключительных сцен летописи казаки, прошедшие с Пугачевым весь путь восстания, вяжут ему руки, причем Пугачев сам протягивает их своему любимцу илецкому казаку Творогову, но никому не позволяет скрутить ему локти назад. «*Разве я разбойник?*» — так в последний раз звучит опровержение официальной версии, подтверждаемой теперь поведением Пугачева почти открыто. В одной этой сцене проглядывает зерно целой ненаписанной трагедии.

9

Изаумительно оркестрован Пушкиным массовый финал пугачевского движения.

После Казани Пугачев окружен правительственными войсками, «бунту» — конец, гибель. Плохо вооруженные толпы пугачевцев терпят поражения от пушек, гусар и grenадеров. Но стоит почти поверженному Пугачеву броситься чуть в сторону, как к нему присоединяются все новые народные силы. Выбравшись на Восток и вновь появившись с Востока, Пугачев переправился через Волгу: «Переправа Пугачева произвела общее смятение. Вся западная сторона Волги восстала и предалась самозванцу...» И это на опустошенной уже земле, когда на горизонте — гибель. Правительственные войска вновь сжимают кольцо. Впечатление от их безжалостного преобладания над безоружным «мужичьем» Пушкин усиливает эффектом эпического «перечисления кораблей» правительственного стана: «Все отряды, находившиеся в губерниях Казанской и Оренбургской... устремлены были против Пугачева. Щербаков из Бугульмы, а князь Голицын из Мензелинска... Меллин переправился через Волгу... Мансуров из Яицкого городка двинулся к Сызрани... Михельсон из Чебоксаров устремился к Арзамасу». Но и это еще не конец. В завершающих эпизодах, рассказывающих о гибели «бунта», Пушкин словно играет мотивом его исторической неодолимости: «Пугачев бежал; но бегство его казалось намезвием... Довольно было появления двух или трех злодеев, чтобы взбунтовать целые области...» Десятки тысяч жертв перечисляет пушкинский мартиролог, но у восстания растут все новые головы. Характерен последний штрих: чем ближе и неотвратимее гибель, тем более вездесущим оказывается Пугачев и неистощимее — посеы «бунта»: «Пугачев стремился с необыкновенной быстротой, отражая во все стороны свои шайки. Не знали, в которой находился он сам. Настичь его было невозможно: он скакал проселочными доро-

гами, забирая свежих лошадей, и оставлял за собою возмутителей...» Но эта изумительная, возникающая у развязки динамика «бунта» изображается Пушкиным все же как агония. И трудно сказать, начинается ли она, эта агония, здесь, в восьмой главе, или где-то гораздо раньше, — может быть, у истоков бунта? К концу все яснее становится, что «бунт» похож на преследуемого оборотня: он еще вспыхивает то тут, то там на фоне общей обреченности, но сразу гаснет, рассеивается, подавляется, пока, наконец, Пугачев не оказывается в Узени среди горстки предающих его казаков.

В описании массового финала крестьянской войны сходятся, как в своем итоге, все противоречия пушкинской картины «бунта». Велики его народные силы, но восстание лишено внутренней перспективы. Великолепен эпос Пугачева с его общенациональной потенцией, но само пугачевское движение рассеяно по отдельным, разобренным моментам. В каждом из них оно остается локальным, местным, не охватывает своими возможностями национального пространства. «Бунт» перебрасывается с места на место, но каждый раз теряет тот клочок земли, где он только что находился. И неизвестно, что он оставляет там после себя. У «бунта» как бы и нет пространства, — возникая, оно теряется, — как нет у него и собственного интенсивного времени: с ним происходит то же самое — подъемы и падения ритма движения, перемежающиеся без конца, на одном уровне колебаний, хотя отдельные частные моменты необычайно динамичны именно в подъеме и росте.

Что же приобрел Пушкин в «Истории» как исторический романист? Познание глубины народного конфликта, опыт освещения его преданием, понимание связи со стариной во всех слоях русской жизни, фигуру Пугачева, в котором предание воплотило надежду народа.

10

И все же историзм «Капитанской дочки» в существенных моментах связан с опытом «Истории Пугачева».

Историческое время представлено в романе Пушкина и в своем устремленном, динамичном состоянии, и как прозябание в исконных слоях национальной жизни, то есть в двух потоках, из которых один застыл. Движение Пугачева — убыстренное время. От бурана в степи, из которого впервые появляется «вожатый», до его последнего кивка с эшафота — промежуток кратчайший, но достаточный, чтобы стало явственно, как сильно Пугачев «тряхнул» Россией. В романе это несравнимо виднее, чем в «Истории», и прежде всего потому, что оба потока встречаются здесь в интенсивном драматическом конфликте. Чтобы эта схватка была глубже и динамичнее, Пушкин заметно освобождает Пугачева (и следовательно, его движение) от скованности архаическим элементом, — он отодвинут в глубину сцены, и даже самозванство здесь явно формальное, Пугачев свободно играет им. И в то же время вся противостоящая Пугачеву официальная Россия

подвержена горюхинской характеристике гораздо более отчетливо, чем в «Истории» (хотя, может быть, и в более общем смысле).

Горюхинскими чертами отмечен родной дом дворянского недоросля Гринева, куда мосье Бопре был выписан из Москвы «вместе с годовым запасом вина и прованского масла» и где придворный календарь отставного секунд-майора — такой же символ неподвижности, как и белкинские календари с записями старосты. Тот же уклад — в Белогорской крепости (очерк которой впервые набросан в «Истории», гл. II): добрый комендант Миронов обучает своих «стареньких инвалидов» «в колпаке и китайчатом халате». На стене в доме Миropyных («старинные люди, мой батюшка») рядом с офицерским дипломом хозяина висят лубочные картинки, изображающие на один лад и в одну меру погребение кота и взятие Кистрина и Очакова. Когда-то добрый капитан был причастен к экстенсивным национальным событиям, но затем историческое время где-то остановилось для него, переместившись здесь, в крепости, в лубочное время погребения кота.

В горюхинский порядок жизни включен — тоже отчетливее, чем в «Истории», — и генерал Рейнсдорп, хотя он из немцев и не понимает, что значит по-русски «держать в ешовых рукавицах». Но именно эта парадоксальность и выдает генерала: долгая служба в русских чинах не сблизила его с русским языком и русскими нравами, не стерла в нем немца, но стерла для него время (генерал говорит: «Ах, фремя, фремя!»), — оно остановилось для Рейнсдорпа так же, как и для любого горюхинца. И сама Екатерина в какой-то мере — не исключение из «горюхинского» ритма. В «Истории Пугачева» Екатерина II в критические для государства минуты объявляет себя казанской помещицей, то есть роднится запросто с казанскими, оренбургскими и другими держателями казенного порядка нации. В «Капитанской дочке» Пушкин развертывает этот момент: облику Екатерины придана здесь соответствующая «домашность» — душегрейка, чепец, белая собачка. В таком виде «государыню» и осеняет в парке «памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева». Какой иначе хотели бы видеть горюхинцы всех сословий свою императрицу?

Общенациональная горюхинская характеристика нужна, однако, роману Пушкина не сама по себе, а в ее историческом значении, поскольку за ней стоит инерция времен «баснословных», уходящих в неоглядную глубину национальной истории. Такова вежа отсчета исторического времени в «Капитанской дочке» (в «Истории» такой вехой были некоторые эпические «инсценировки» Пугачева — мужицкого царя). Иные идиллии в семействе Гриневых или в Белогорской крепости чуть ли не старше реформ Петра I. Они особенно старинны там, где должен пройти пугачевский «бунт». На пути Гринева к Белогорской крепости Пушкин бегло, но исторически красноречиво рисует пейзаж («намеренно сниженный», по определению Л. Гроссмана) — словно лишенный времени: «печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами...». В этот пейзаж вписана и Белогорская крепость в виде «деревушки, окруженной бревенчатым забором», а по-

одаль — «скривившаяся мельница с лубочными крыльями, лениво опущенными». Все это пейзажи, напоминающие восклицание Гоголя во втором письме по поводу «Мертвых душ»: полтора ста лет протекло с тех пор, как Петр I «прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского», но «так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас...». Пушкин «зазывал» историю в самые глубокие пласты национальной жизни России.

И вместе с тем эта старая, сословная Россия исторически не однослойна. В романе Пушкина сосуществуют, переходят друг в друга век древний и век минувший, XVIII (двор Екатерины II), и век нынешний, пушкинский (светские фигуры Зурина и Швабрина, хотя и на них брошена тень старинной «непривычки к закону и гражданской жизни»), а в ином случае сосуществуют и все эти века: Савельич.

Опыт такого исторического познания — из «Истории Пугачева». Он и позволил Пушкину поставить основанием романа «благое потрясение», вносимое «пугачевщиной» во всю глубину существования нации. Поэтому на авансцену «Капитанской дочки» вынесено столкновение Пугачева с Белогорской крепостью, с ее народно-традиционным миром, стариной неизмеримой. Основа трагического в судьбе капитана Миронова, Василисы Егоровны, одноглазого Ивана Игнатьича — в историческом незнании: повстанческая сторона народных сил здесь не узнана их смирной или, говоря языком «Истории Пугачева», «послушной» стороной. Сцена виселиц в Белогорской крепости включает в себе и свой катарсис — искупление за остановившееся время. Корни этого конфликта опять-таки в пушкинской летописи, где он намечен во внешнем очерке полностью, вплоть до предсмертной реплики Ивана Кузьмича. Вместе с тем у конфликта незнания в романе более подвижная перспектива, уясняющая его относительность. В каком бы слое российской старины ни жили простые люди «Капитанской дочки», исконная «жанровая» характеристика не исчерпывает их сполна: в них есть и ординарное, и человечески неординарное, способность к подъему, которая и пробуждается в условиях народного кризиса. До нравственного величия поднимаются герои «незнания». Расширяются национальные горизонты Гринева. На необычайный внутренний рост оказывается способной Маша Миронова, отправляющаяся на поиски закона. Можно ли отрицать, что и достоинство Савельича — плод необычайных событий и в каком-то счете пугачевского движения?

Но в романе есть и другие показания о том, что «благое потрясение» проходит по глубине национальной жизни. Это три «не бойсь», обращенные к Гриневу, к живым силам нации, три символических знака, возникшие из эпического течения «Истории Пугачева», из присущего его картинам сочетания ужасов и надежды, виселиц и национальных обещаний «бунта». Три раза возникает в «Капитанской дочке» призыв «не бойсь» и каждый раз — в самых кровавых эпизодах: в веще сне Гринева («не бойсь, подойди под мое благословение...»); в сцене стояния Гринева под виселицей в Белогорской крепости, когда «губители» ободряют его словами — «не бось, не бось»; значение

третьего «не бойсь» придано последнему приветственному кивку Пугачева с плахи. И эти три «не бойсь» не остаются в «Капитанской дочке» без результата.

Иногда отмечалось, что роман Пушкина начинается и кончается идиллией — «идиллическим обрамлением» (Л. Г р о с с м а н, Пушкин, стр. 466): «...Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии». Но пушкинские идиллии в романе полны двусмысленности, самоотрицания: слишком многое в них показывает, насколько исконная Россия созрела для «великих перемен». «Благоденствие» потомства Петра Андреевича Гринева — это село, принадлежащее «десятерым помещикам». Значит, много семей и родов, подобных гриневскому, переходит в состояние «третьего сословия». Рукопись Петра Андреевича была доставлена «издателю» внуком, «который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом». Чем мог быть этот труд, как не «Историей Пугачева»? «Издатель» полускрывает намек на то, что внук не только сочувствует в чем-то опыту, пережитому его дедом, но и не прочь восстановить перед современниками урок «благотрясения». А современники принадлежат веку декабристов.!

История в романе Пушкина нигде не останавливается, — ни на прошлом, ни на настоящем. А если она происходит здесь «домашним образом» и ход ее обозначен порой малозаметными знаками, то это свидетельствует прежде всего о том, что историческое движение совершается в эпосе «Капитанской дочки» в таких глубоких слоях национальной жизни, куда перемены приходят не так легко. И в этом, пожалуй, основной итог опыта «Истории Пугачева», перенесенный в роман. К этому можно добавить, что с опытом «Истории» связан и своеобразный эпос пушкинского романа, отнюдь не сводимый к старофольклорным традициям, проникающий всю «домашнюю» форму его историзма, струящийся в «жанровых» элементах романа, готовый охватить своей полнотой и таких его героев, как Зурин и Швабрин, вовлекающий в свои широкие границы все достижения пушкинского реализма. Но это — уже особый вопрос.

Вопросы *Литературы*

12-й год издания

Ежемесячный журнал

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
И ИНСТИТУТА
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

СОДЕРЖАНИЕ

НА ТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Л. ТИМОФЕЕВ. Метод живой, движущийся 3

Произведения, о которых спорят

«СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ» И «ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ»
В. КАТАЕВА

Б. САРНОВ. Угль пылающий и нимвал
бряцающий 21

Вл. ГУСЕВ. Две стороны медали 50

И. ГРИНБЕРГ. Наблюдательность или
лицезрение? 61

ТРИБУНА ЛИТЕРАТОРА

Проблемы методологии критики

Г. СИВОКОНЬ. Второе прочтение . 78

ПУБЛИКАЦИИ. СООБЩЕНИЯ. ВОСПОМИНАНИЯ

С. ЭЙЗЕНШТЕЙН. Литература в кино 91

К истории Пролеткульта 113

По страницам зарубежной печати

М. ТУГУШЕВА. 100-летний юбилей Гол-
суорси 125

М. УЛЬРИХ. Журнал венгерских литера-
туроведов 128

В. СЕДЕЛЬНИК. Швейцария в литературе 129

1

Я Н В А Р Ь



МОСКВА
1968

(См. н/о)